
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПУШКИН И ТОЛСТОЙ: ГОСУДАРСТВЕННИК И ПРОРОК

В прошедшем и нынешнем годах мы отмечали два «некруглых» юбилея: 185-летие со дня рождения Л. Н. Толстого и 215-летие со дня рождения А. С. Пушкина. Соответствующие рубрики, посвященные юбилярам,— в предыдущем и настоящем номерах «Приокских зорь». Даже такие даты, тем не менее, заслуживают присутствия на страницах нашего русского классического журнала. А здесь и тема «Колонки» прямо-таки обрисовалась, сгустилась по причине взволновавших весь русский, российский мир событий на Украине, бывшей Малороссии. Мы снова, говоря словами русского классика, вернулись к «временам очаковским и покорения Крыма». С заменой, понятно, предпоследнего слова на «обретения»... То есть других тем в СМИ, исключая злосчастный куалалумпурский «боинг», вовсе и не осталось. И явно доминирует тема государственности и патриотизма.

Понятно, что в окрепшую уже нынешнюю эпоху глобализма, когда непричастный к высокой политике народ видит только самую верхушку айсберга, а поведение его подводного массива загодя просчитывается на мегакомпьютерах соответствующих штаб-квартир и центров, понятия государственности и патриотизма заметно смещены от традиционного их смысла. Самодостаточно мыслящий человек сам до всего своим умом дойдет, а для масс-медиа (это не о СМИ, а о народе) достаточно восторга и хоть какого-то отвлечения от серых будней. Но ведь и это свежий ветер! И это хорошо! И это дает нам полное право означенную тему рассмотреть в ретроспективе идеологии творчества двух гениев русской литературы.

***Поэт-государственник (произведение, которое не изучают в школе).** Казалось бы, что в школе — за нынешнюю не ручаюсь, но в советской самоочевидно — творчество Пушкина изучали основательно во все времена и эпохи, за исключением коротких лет управления образованием А. В. Луначарского с его РАПП'ом (то есть во времена Троцкого), когда Пушкина «сбросили с корабля истории». Стихи, поэмы, проза, художественная публицистика — все это нам давали в школе в достаточной степени полноты; даже шутейно-антиклерикальную «Гаврилиаду» любознательные старшеклассники читали. Не в школьной хрестоматии, конечно. Понятно, определенная тенденциозность наблюдалась, точнее — соблюдалась. Памятуя партийно-педагогические методики преподавания литературы, учителя-словесники как-то невнятно объясняли смысл патриотических стихов Александра Сергеевича:*

*Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?*

Упор все более делался на интернационализм, а по Пушкину выходило, как назло, что врагами России, русской государственной идеи в XIX веке являлись нации и народности, ныне (речь идет, понятно, о советском периоде истории) образующие государства соцлагеря и братскую семью советских народов...

Не дай, Бог, осуждать ранее и сейчас наших добрых учителей за их следование партийно-педагогическим методикам. Сами эти методики были выверены и соотнесены с гибкой политикой руководства СССР, требовавшей сочетания в воспитании советских людей традиций государственности и идеи интернационализма. Правда, последняя трактовалась по троцкистскому образу, ибо в своей многотрудной деятельности великий И. В. Сталин так и не успел, точнее — ему не дали успеть, привести эту идею в соподчинение и соответствие базовой, стержневой идеи доминирующей государственности. И, хотя не это явилось основной причиной разрушения русско-советской империи, но очень и очень способствовало трагедии страны, превращению ее в краткий срок в... понятно, что. Но вернемся к А. С. Пушкину.

Единственным произведением Пушкина, если не замалчиваемым, то уж во всяком случае «умалчиваемым» и ранее, и ныне, и присно, является «Путешествие из Москвы в Петербург» с приложением очерка «Александр Радищев», написанное им незадолго (в апреле 1836 г.) до гибели. Написанный как художественно-публицистическая антитеза радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву», очерк Пушкина представляет отображение гражданской позиции поэта. Но почему эта небольшая по размеру прозаическая вещь, повествующая о поездке некоего путешественника, живущего безвыездно в Москве, не бывавшего в Петербурге лет пятнадцать и решившего-таки навестить северную столицу, стоит как бы особняком в официальном пушкиноведении? Более того, при не столь частой публикации «Путешествия», например, в книге «Избранное» А. Пушкина в серии «Библиотека русской художественной публицистики» (М., «Советская Россия», 1980), в «идеологическом» предисловии обязательно развивается мотив, что-де «социальные и нравственные идеи в «Путешествии из Москвы в Петербург» значительны и во многих случаях близки радищевским»; «...эта мистификация понадобилась для того, чтобы ввести нелестные для Радищева замечания, без которых нельзя было рассчитывать на публикацию очерка, и в то же время дать понять читателю, что подлинный автор так не думает» и пр.

Что здесь правда, а что есть идеологическое лукавство и литературный эвфемизм? Попробуем ответить.

В соответствии все с той же гибкой политикой идеологии в СССР, отображение последней в литературе, равно как в искусстве и культуре вообще, выражалось в некоторой, достаточно строго выдерживаемой «табели о рангах». Опять же, подчеркнем это, при некоторой искусственности, прямолинейности и исторической неправомерности такой подход был объективно полезен и гармонизировал с государственной сверхзадачей.

Согласно этой табели, фигура А. Н. Радищева трактовалась как прогрессивная, предтеча декабристов, которые разбудили... далее хорошо известно. А его «Путешествие из Петербурга в Москву» однозначно признавалось произведением великим, литературно высококачественным, идейно опередившим свое время на многие десятилетия вперед. Понятно, что все эти оценки были ориентированы на либерализм и революционный демократизм, как прогрессирующую доминанту в историческом развитии России, начиная едва ли не со времен Золотой Орды... Поэтому пушкинское «Путешествие» в обратную по отношению к радищевскому (и по направлению пути следования, и по оценкам российского бытия) сторону никак не вписывалось в уложения табеля. Более того, щекотливость ситуации усугублялась и положением

самого Пушкина в этой табели: как величайшего русского поэта, известного вольнодумца, почти декабриста и пр. Поэтому диалектический подход — отрицание отрицания — здесь явно не подходил. Соломоново же решение — сделать вид, что «Путешествие» Пушкина, конечно, произведение прогрессивное, но популяризировать его ни к чему — устраивало всех. На том point sur les «i» и была поставлена.

В чем же публицистическая, идеологическая разница между двумя «Путешествиями»? Полагаем, что основной контингент наших читателей учился в советской школе и содержание книги А. Н. Радищева помнит если не текстуально, то по нравственно-этической и политической направленности. Дабы не превращать эссе в литературоведческий трактат, ограничимся несколькими, наиболее сопоставительными тезисами (А. Н. Радищев) и антитезисами (А. С. Пушкин).

С самого начала очерка Пушкин отмечает, что некогда шумевшая книга «потеряла свою заманчивость», прошумела скоро и была забыта; говоря современным языком, уподобилась диссидентскому бестселлеру...

Сопоставляя две российские столицы, Пушкин отмечает те значительные изменения, что произошли с ними со времен радищевских. Памятуя о том, что Радищев как прочитал в юные годы рассудочную философию Гельвеция, так и остался на всю жизнь ее поклонником-неофитом, Пушкин пишет в данном контексте: «Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее, влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения!» (Здесь явная указка на декабристов).

Радищев заканчивает свою книгу словом о Ломоносове. Пушкин отмечает, что слово это по намерениям не совсем похвально: «Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе русского Пиндара. Достоин замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славой Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостью». Радищев все внимание (а это 30 страниц текста!) сосредоточил на Ломоносове-поэте, риторике и грамматике, то есть на тех сферах деятельности русского гения, где, говоря словами Пушкина, «его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается...» и т.п. А Пушкин, проводя в тексте очерка пространные выписки из рапорта Ломоносова графу Шувалову за 1751—56 гг., доказывает, что Ломоносов есть, прежде всего, естественник, подвижник науки и государственный в области отечественного просвещения. Этого-то «не заметил» Радищев.

Особенно резко возражает поэт Радищеву в части пресловутого и ныне питающего отечественных и зарубежных ненавистников России вопроса о «рабском начале» русского характера, о «невыносимых» условиях жизни и труда русского простолюдина — вечно живая тема диссидентствующих! Пушкин сравнивает положение русского крестьянина и ремесленника с землепашцами французскими и рабочими английских мануфактур далеко не в пользу последних. А что касается «рабского начала», то: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его сметливости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны... В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища... Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности». И так далее.

Серьезные возражения Пушкин обосновывает и в главах «Слепой», «Рекрутство», «О цензуре», «Этикет» и «Шлюзы». Заканчивая очерк кратким описанием жизни

ни Радищева, поэт резюмирует свое мнение: «Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он? На эти вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».

Такими проникновенными и гениальными в своей краткости словами заканчивает Пушкин свой очерк. Сказать, что Радищев — западник, а Пушкин более тяготеет к отстаиванию самобытности пути России в сонме европейских народов и государств, значит мало чего сказать. Символично, что «путешествия» их антипараллельны; Радищев едет в истинную, историческую русскую столицу из столицы-призрака, олицетворяющей западническое начало в новейшей жизни государства. Это не подходит под само определение путешествия; путешествуют — это когда из дома на время уезжают в чужие края... А вот Пушкин истинно путешествует: из «домашней» столицы во временную.

И так во всем у них разнится. Радищева с полным правом можно уподобить иному диссидентствующему советских времен, который (как Радищев в Германии со чтением случайного Гельвеция) побывал в «европах», упал в обморок при виде 3000 сортов колбасы — теперь мы знаем, что она синтетическая, — а вернувшись в «эту страну», начал хулить ее с надеждой получить выездную визу... Радищев, представленный своим «Путешествием», есть духовный предтеча и прообраз масонов-западников-декабристов.

Конечно, молодой Пушкин — на то и молодость, чтобы следовать порыву сердца, но не ума! — мог произнести приписываемые ему слова ответа на вопрос Николая I о его возможном участии в мятеже. Но мудрый царь уже тогда видел в поэте государственника и не ошибся в нем, как и вообще редко ошибался в людях и делах (лишь подлость Европы не оценил).

И напрасно наше каноническое литературоведение винит Николая Павловича в гибели поэта, годовщину которого мы отмечаем каждый год. Пушкина, поэта-государственника, для которого не было истины без любви, погубили те, для которых Россия была очередной страной пребывания (где лучше, там и родина!). Не существенно, что погиб поэт от руки этнического чужестранца — «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!» Не он, так другой, из своих, числом всегда многих, прилепившихся к трону... Главное — кто и за что наводил казнящую неправую руку. Казнили подло, не открытым судом, но спровоцированной дуэлью величайшего русского поэта, который своей музой служил государству, служил и царю, но не как персонифицированной личности, а именно как воплощению государственной, национальной идеи.

Вот и получается, что небольшой очерк, который не изучают в школе, относимый литературоведами-пушкинистами к второстепенным упражнениям поэта в публицистическом жанре, не так-то и прост. Это серьезная полемика, как ни в каких других, намного более известных произведениях Пушкина, открывающая в нем человека государственного мышления и души патриота.

*И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.*

А. С. Пушкин

...Будем всегда помнить Радищева. Но еще более — Пушкина.

...Ваши покорный слуга и ранее писал об «антитезе» Пушкина — Радищева. Даже появлялись неодобрительные отзывы на сей счет. Но вот что самое интересное: антитеза-то здесь вовсе и не требовалась, ибо авторы откликов и нашего очерка практически с одинаковых позиций трактуют роль Радищева в русской литературной и политической истории, одинаково подчеркивают повышенное и постоянное внимание нашего великого поэта к великому же свобододолюбцу. Замечания автора, что-де в очерке ругаются советские школьные методички преподавания литературы и вовсе не выдерживают критики: в очерке как раз утверждается, что эти методички были совершенны для своего времени и своей страны, то есть СССР.

Может быть поэтому, чувствуя, что пресловутая антитеза как-то вяло гаснет, опытные в своем деле журналисты сразу же после вступления переходят, анализируя дилемму Пушкин — Радищев, к более общим категориям, вовсе и не имеющим отношения к содержанию нашего очерка, то есть рассматривают современный «бандитизм в литературе», заказную — от власти имущих — критику и литературоведение и дают прочие, очень правильные, определения нынешнему развалу в литературе, синхронном общему развалу страны, государственности, этики и пр.

На этом примирительном тоне реплику «постфактум» можно было бы и закончить, но позвольте и мне еще раз коснуться темы Пушкина и Радищева, вскрыв некоторые лейтмотивы, побудившие авторов очерка и статей все же с несколько различных позиций — не идейных, конечно, но профессиональных, так сказать — подойти к столь важному для истории русской литературы вопросу.

Скажет — чем занялись? — наш читатель, поотвыкший в бедламе нынешней жизни и вообще-то читать что-либо, а об очередном вторнике — падении курса рубля, смене «по понедельникам» (при Ельцине) правительства и — без привязки к дням недели — бомбардировке американцами очередной же, еще не продавшейся им страны, узнающий из рупора дьявола — телеящика.

— Писали бы лучше о трагедии Югославии, что называется, на злобу дня!

С одной стороны верно, но вот как быть с Юбилеем Александра Сергеевича? Нас-то пока не бомбят, поэтому изустно и печатно надо вспомнить о юбилеях, а то неудобно как-то. Будут, будут и снова кого-то бомбить, не задержится. И вины Пушкина, автора «Песен южных славян», здесь не будет, а вот Радищев...

Вот здесь и выступают на первый план эти самые профессиональные позиции авторов: журналиста и писателя. Ведь не зря же, при некоторой внешней схожести занятий, им и названия дали разные, общаются с собратьями по профессии в разных творческих союзах, даже квалификацию они получают (хотя дело это очень условное) в разных вузах: на журфаках университетов и в Литинституте, соответственно. Но это все внешняя сторона, антураж. Различны же их творческие подходы. Журналист экспрессивен, профчутьем находит интересную для масс-медиа тему и емко, выразительными средствами (аргументом и фактом, так сказать) отображает и развивает ее для органа оперативной информации. А от торопливости повседневной спешки анализ зачастую уступает место эмоциям. Это нравится широкой читательской среде. Писатель же все больше «бьет» на анализ, сводит тезы с антитезами, идет от частного к общему, формулирует в художественной форме выводы (не оргвыводы!). То есть различие между ними укладываются в написанные десяток строк, но они почти что фундаментальны.

Вот и в образовавшейся дискуссии об отношении Пушкина к Радищеву четко это вырисовывается. Не только в науке, но и в литературном творчестве любой объект или процесс можно рассматривать как в статике, так и в динамике. Первое есть срез события в какой-то временной момент; динамика же предполагает учет

связи времен, в частности, отображение давно имевшего место на текущее время. «Журналистский» способ мышления — описание в статике; писательский же анализ заключается в учете многофакторной динамики. И этим все сказано.

Наши уважаемые оппоненты совершенно правильно для своего метода исследования пишут о роли Радищева для своего, то есть конкретного времени; роль его, как провозвестника антикрепостничества, трибуна свободы человека личной, исключительно велика. Благие намерения всегда похвальны. Это и привлекало Пушкина, самого свободолюбца; отсюда и его восторженное отношение к автору «Путешествия», однако... с одним, но все решающим уточнением, которое обходит в рамках своего метода наш журналист: это отношение характерно для молодого Пушкина, хотя в наше время как-то непривычно выделять период молодости в отношении человека, не прожившего и сорока лет... Зрелый же Пушкин, прошедший путь от либерального стихотворца, за злые эпиграммы и байронические, вольнолюбивые стихи ссылавшийся в Новороссию, до поэта-государственника («Клеветникам России»), оценивает роль Радищева именно с позиций наличия или отсутствия факторов гражданственности, патриотизма. Поэтому и появляется его «Путешествие», которое, учитывая сказанное выше, все же следует рассматривать уже как антитезу радищевской книге. То есть он не то чтобы поменял свое личное отношение, нет, до конца дней своих чтит первого русского бунтаря духа — нельзя не уважать человека безудержного риска! — но, и в этом отличие гения и провидца, он понимал, что любая свобода есть осознанная необходимость. По той же причине Пушкин столь быстро отошел от масонства, осознав его угрожающую миру опасность.

И Екатериной, сурово наказавшей вольнодумца, владели не столько оскорбленные чувства «первой помещицы России», но более государственные соображения. Она четко осознала, что Радищев опасен не как критик крепостничества, но как вольный или невольный апологет масонства. Она тоже прошла путь от либеральной переписки с Вольтером до осознания грядущей из Франции опасности и де-факто запрещения масонских лож в России. Резюме: государственные умы, в отличие от остальных, пусть даже прекрасных душой людей, видят и оценивают последствия того или иного явления.

Более того, Пушкин в русской литературе далеко не одинок в эволюции от бунтаря до охранителя государственных устоев. Стоит только назвать имена Достоевского, Некрасова, Тургенева и все станет ясно. Ведь именно приговоренный к повешению молодой петрашевец Достоевский в своих «Дневниках писателя», которые — также — не «проходили» в школе ранее, а теперь и вовсе замалчивают, впервые обосновал геополитическую имперскую стратегию России и за сто двадцать лет наперед объяснил причину и движущие мотивы наблюдаемой ныне гибели империи. Поэтому не зря в литературном мире упорно ходят слухи о том, что названные выше три писателя в зрелом — творчески и политически — возрасте имели полковничьи чины по линии внешней (не внутренней!) разведки... «И вы, мундиры голубые». Вот вам и мундиры; кстати, а где хранил Федор Михайлович свой голубой мундир полковника жандармерии?— Ведь тогда разведка шла по ее линии. И платил ли Тургенев долги мужа посредственной певички-француженки из личных или казенных денег?— Вот где настоящее золотое дно для журналистских расследований!

Так виноват ли Радищев в реальном наступлении эры Мирового правительства сил зла, сил Антихриста, виноват ли, говоря языком обывательским, в уже давней бомбардировке нашего последнего и естественного союзника — героической Сербии? Лично, как человек, чья жизнь отдалена от этих событий двумя веками, конечно, нет; это абсурд. Но как некоторая абстрактная единица, в совокупности со многими другими подрывавшая в литературной форме борьбу устои империи —

безусловно да! Я уже зримо ощущаю трепетное перо уважаемого журналиста, который пишет очередную статью в развитие дискуссии под заголовком: «Радищев развязал войну на Балканах!..». Ибо империя, страна, этнос есть динамически развивающийся, самоорганизующийся механизм, который либо существует, либо не существует. А существует он положенные столетия или тысячелетия независимо от того, кто олицетворяет организующую государственность: поставленные ли ханским ярлыком князья, цари и императоры, красные вожди, генсеки или президенты. Основной же целью мирового масонства являлось, теперь уже сбылось, разрушение основных империй, тем более самодостаточных, автаркических, какой была Русская империя в зените ее могущества, то есть в период сталинского и постсталинского СССР. А бесконечные бомбежки Ирака, а теперь и европейского государства, означают одно: дело, которому, не осознавая этого в исторической перспективе, служил Радищев и другие — имя им легион — победило, наступил час торжества Антихриста. Поэтому-то вслед за империями пришла горестная очередь и последней твердыни христианства — православия. Но не надо плохо думать о Радищеве-человеке, ибо не знал и не мог знать, что творил. Не дано было ему обрести ум государственника. Таких людей жалко: жизнь не сложилась, и хлопоты-то были по не правому делу. Как Радищев не понадобился уже либеральному (опять-таки поначалу) Александру I, так и наш современник, протестант духа и разрушитель на литературном фронте, тоже человек искренний, не понадобился в наши дни людям и идее, которым он невольно служил, помогая ломать хребет советской империи. Понятно о ком речь идет... Бедные они, бедные,— беднее нас всех, нищих — но только кошельком.

Поэтому, дорогой мой оппонент-журналист, мы всегда будем помнить прекрасного души человека, сердце которого сжималось от боли за ближнего своего, отчего в слепой благородной ярости начинал он грызть свое государство, но еще более мы помним Пушкина, рано повзрослевший ум которого осознал диалектическую категорию свободы как осознанной необходимости.— По Гегелю.

Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам...

«Евгений Онегин», гл. I

Журналистская муза поэта. «Цель художества есть идеал, а не нравоучение»,— незадолго до своей смерти написал Пушкин, имея в виду художественное творчество, не очерченное только строгими рамками поэзии, драматургии и художественной прозы. Такое расширительное толкование, его справедливость и правомочность поэт подтвердил всей своей творческой жизнью, начиная от чистой поэтической лирики, продолжая ее прозой, драматургией, публицистикой и журналистской деятельностью, восходя в «Маленьких трагедиях» до философских обобщений, в публицистике — до исторических умозаключений и глубокого, но художественного осознания глобальных закономерностей нравственности, этики, социальной морали.

Талантливый человек талантлив во всем, а в приложении к художнику слова это ассоциируется с полижанровостью его творчества. Пушкин здесь не то чтобы исключение, но наоборот — ярчайший пример. Конечно, определенную роль здесь играет основной, изначальный жанр, в котором работает художник; это уже особенности как самого психологического типа творца, так и проявление некоторых общих закономерностей. В отношении последнего можно с определенной уверенностью

тельностью сказать, что лучшую прозу пишут поэты, но худшие стихи, или, по крайней мере, посредственные, сочиняют прозаики...

Столь же закономерен и тот реально наблюдаемый и подтверждаемый всей историей литературы факт, что редкий поэт в самом творческом своем расцвете не обращает свое перо к иным, «более прозаическим» формам художественного самовыражения. Так и Пушкин, в нашем понятии еще человек молодого возраста, то ли шутливо, но, скорее, и серьезно замечал, что-де стареет, к прозе тянет...

Был он в этом замечании искренен и последователен. Не чета многим и многим другим, явно рисуящимся, посредственным талантам, но на многое претендующим... У всех нас еще на памяти быллой кумир «шестидесятников», что, явно подражая Пушкину, повсеградно и повсезкранно скандировал: «До тридцати поэтом быть почетно, но срам кромешный после тридцати!» Увы, и стихи он как-то скоро писать перестал, а к прозе (несколько посредственных киносценариев не в счет) так и не приступал; внеся посильный, но весомый вклад в разрушение вскормившей его страны и литературы, убыл на «ПМЖ» в «жаркие страны», где гарантирован ему честно заработанный кусок хлеба... то бишь гамбургер с чизбургером за 5 USD штука; а цена самому бывшему волнительно умов всего лишь в 6 с небольшим раз больше. Но — то другое, по Сеньке и шапка.

Вернемся к Пушкину, о коем стократ приятнее писать, нежели о рядовом ренегате, начавшем за здравие (Иосифа Виссарионовича), а кончившем за упокой Великой державы, созданной тем же Сталиным.

Не отстраняясь от высокой, но становящейся все более гражданской, философской лирики, поэт создает свой цикл трагедий от «Бориса Годунова» до «Сцен из рыцарских времен». Почти одновременно появляются образцы и поныне лучшей русской прозы, среди которых драгоценным соцветием выделяются «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Как бы предчувствуя конец малых отпущенных ему лет, рука его торопится означить хотя бы начало многого задуманного: история, публицистика, жизнеописание, дневники... И именно в эти последние годы жизни поэта появляется и еще одна сторона энергичного его творчества; да, поэта посетила и журналистская муза, причем явилась она к нему не как нечто дополняющая, но как развивающая талант и г р а ж д а н с к и е устремления Александра Сергеевича.

«Мы все учились понемногу», а потому можем составить для себя мнение о роли журналистской работы для талантливого и разностороннего художника-гражданина. С позиций всеобщей испорченности нашего времени, однако, можно сходу насчитать с десяток прагматических «обоснований» такой роли, главные из которых суть самореклама, политическая или денежная выгода. Действительно, посмотрите на 99 % нынешних газет, еженедельников, пресловутых «толстушек», журналов? — Оптовый торговец подчинил себе лавочную сеть города, прошел в местную думу, так как же ему не основать свой орган печати — «Голос среднего класса»; конечно, патриотический и независимый... Группа, а может и единоличная пишущая сущность, берут под свой контроль журнал или газету и так далее. Глядишь и телевизионный бандит Вован откроет свою «Новую патриотическую». Но, повторимся, это наши времена и люди... тем более, бесталанные.

История же русской журналистики наглядно повествует об ином подходе наших великих писателей, поэтов, гуманистов и ученых, встававших во главе учрежденных ими изданий. Пожалуй, это чисто русская литературная традиция, когда известный и талантливый писатель в пору своей художественной зрелости начинал издавать журнал, и, как правило, издания эти становились для своего времени событием литературной жизни и преследовали цель именно художественного, граж-

данского идеала, но не нравочения, вновь возвращаясь к словам Пушкина. Здесь и «Почта духов» с произведениями Крылова, журналы Достоевского и Некрасова, «Голоса из России» и другие лондонские издания А. И. Герцена и Н. П. Огарева; многое другое. Да и «Библиотека для чтения» Осипа Сенковского, как бы ее ни третируют радикалы разных времен и толков, кроме пользы ничего и не привнесла в отечественную литературную жизнь, действительно став общедоступной библиотекой России. И, конечно же, «Современник» Пушкина, ставший первым истинным литературным журналом в стране.

Роль Пушкина в становлении русской литературной периодики отмечена и символами последней: как в русском флоте существует традиция преемственности названий боевых кораблей, так и основанные Пушкиным «Литературная газета» и «Современник» имели и ныне имеют свои продолжения; другое дело, что позиции «ЛГ» и «Нашего современника» столь резко разошлись по самым животрепещущим вопросам, как литературного процесса, так и по гражданским позициям... но это уже не вина светоча русской поэзии. Хоть это-то на него не навешаешь, а то получится как в слышанном некогда автором этих строк (на дворе год разгула демократии 90-ый) монологе своего сотрудника, человека пожившего и мыслящего здраво: «Купил вчера «Литературку», открыл, а на весь разворот заголовок: «Кто убил Пушкина?» Плюнул и читать не стал, понятно, кто убил — Сталин!»

Ну, это к слову, к нашей славной действительности и околотитулярной поденщине.

Еще в 1825 году в письме к П. А. Вяземскому Пушкин писал: «Когда-то мы возьмем за журнал! Мочи нет хочется...» Только через пять лет он вместе с А. А. Дельвигом начал издавать «Литературную газету», которая незамедлительно стала, как сейчас говорят, писательским рупором литераторов пушкинского круга. Выходила она чуть больше года и прекратилась со смертью Дельвига, основного организатора столь хлопотного дела как регулярная газета.

Последующие пять лет Пушкина не оставляла мысль, что «литература не может не согреться» (из письма П. А. Плетневу), если начать издание альманаха, журнала или газеты с выраженной литературно-нравственной и гражданской позицией. В беседах и переписке с П. А. Плетневым и В. Ф. Одоевским Пушкин отработывал структуру и направление грядущего издания, которые предугадывались в различных вариантах названия: «Арион», «Летописец», «Современный летописец политики, наук и литературы».

В самом начале 1836 года по отношению Бенкендорфа на письмо Пушкина журнал «Современник» был разрешен к изданию, но — как чисто литературный, то есть отвечал только литературно-критической установке пушкинской программы журнала.

Пушкин успел издать четыре тома журнала; остались материалы, которые он готовил для последующего тома уже в январе 1837 года. Какими же именами представлены изданные тома? — Это Гоголь с его знаменитой статьей «О движении журнальной литературы» с критикой «торгово-промышленного» направления в литературе и журналистике; с критическими статьями печатались Одоевский и Вяземский; этот же раздел «Современника» во многом поддерживал подготовкой критического материала сам Пушкин.

В поэтическом разделе журнала наиболее полно представлен пушкинский круг: Жуковский, Языков, Вяземский, Гютчев, Баратынский, Денис Давыдов. Самим Пушкиным впервые опубликованы его «Пир Петра Первого», «Скупой рыцарь», «Полководец» и пр. Художественная проза вышедших томов «Современника» по преимуществу принадлежала Гоголю и Пушкину; так здесь была опубликована «Капитанская

дочка». Листая страницы «Современника», находим «Записки» кавалерист-девицы Н. А. Дуровой, очерки о войне 1812-го года Дениса Давыдова, этнографические очерки М. П. Погодина и Султана Казы-Гирея.

*Вот почему, архивы роя,
Я разбирал в досужий час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ,—*

этим строками из опубликованной в третьем томе «Родословной моего героя» можно охарактеризовать ту атмосферу, публицистическую направленность, которую с первого тома поддерживал в журнале Пушкин, используя много и охотно документальные материалы; это же позволяло ему оттенять гражданскую позицию журнала, его общественно-политическую, патриотическую направленность. «Я думаю пуститься в политическую прозу» (Из письма Вяземскому). Выше мы уже писали о Пушкине-публицисте в сопоставлении его с Радищевым. Так вот, статья «Александр Радищев» также была опубликована в «Современнике».

В организации и поддержании присущей «Современнику» позиции Пушкин сочетал, казалось бы, несовместимые вещи: своего рода «литературный аристократизм» (в чем его упрекали современные ему радикалы), глубокий патриотизм и подлинный демократизм. Тем не менее, это так, если учесть реалии эпохи, а еще в большей степени учесть, что это был Пушкин последнего периода своей жизни и творчества. Реалии же эпохи таковы, что на подходе были сороковые годы, то есть годы раннего наступления капитализма на Россию. В литературе предвестником его явилось ложное «одемокративание», сопровождаемое натиском чуждых русскому самосознанию веяний прагматичного Запада. На пороге стояли и отечественные разночинцы. То есть в литературу хлынула толпа, привнося неуют, характерный для любого «перестроечного» времени. А куда от того деваться, но зрелый Пушкин был аристократ — в смысле аристократ духа, но еще более был он патриотическим государственным (это не тавтология, но наиболее верное определение сути его мироощущения и мировоззрения). Надо постараться это понять, скорее — не умом, но душой прочувствовать, и тогда ясной станет позиция его «Современника». И совсем уж ясно, что дай Бог Пушкину еще десять-двадцать лет жизни, как пить дать, литературоведы радикального толка уже полтора столетия обличали бы «Современник» как верноподданническое, черносотенное, антидемократическое и пр. и пр. издание...

В этом смысле можно провести прямую параллель между пушкинским «Современником» в его эпоху, и правнуком его — «Нашим современником» в эпоху нынешнюю, когда в литературу вновь хлынула толпа: чужеродная, голодная, всепродажная, безликая и бесталанная. В очередной раз раздался клич сбросить Пушкина с пархода истории...

*Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнее блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей,
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,*

*Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!»*

«Родословная моего героя»

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалею, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

А. С. Пушкин «Воспоминание»

Самое загадочное стихотворение Пушкина. Признаемся себе: непривычно читать у Пушкина строки, выдержанные в такой мрачной экспрессии; не то чтобы Александр Сергеевич ассоциируется с таким «веселым» поэтом навроде любимого им Парни, но обычный слог его, при всей информационной и эмоциональной емкости, независимо от фабулы стихотворения и идейной направленности, неизменно оптимистичен.

Немалое число наиболее известных литературоведов и исследователей творчества и жизни поэта дружно выделяют это стихотворение, ставят его почти что обособленно от всего остального поэтического наследия Пушкина. Вместе с тем «Воспоминание» общепризнанно как самое великолепное творение, философское обобщение, лирическое откровение зрелого поэта. Однако его содержание, ассоциативные связи, причины, побудившие Пушкина к написанию этой исповеди души, вызывают много вопросов как у поклонников его творчества, а это все грамотные по-русски люди, так и у ученых-филологов. Автор этих строк в разговоре с одним из известнейших советских литературоведов, к сожалению, ушедшим из жизни в относительно молодом возрасте, Юрием Селезевым предложил свое понимание «Воспоминания» как мирового образца законченности формы художественной мысли и нашел позитивный отклик. Думаю, что в контексте данной «Колонки» нелишним будет поделиться с литературно-взыскательным кругом читателей своими соображениями.

При анализе законченности формы первоочередным является ответ на вопрос: каков «масштаб» отношения художественного выражения к породившей его художественной мысли, то есть соотношение интуитивного, художественного и логического в творческом познании?

Прежде всего, поражает большой объем черновых вариантов стихотворения (ПСС в 16 тт.; Т. III (Кн. 1), 1948); для примера переработки приведем строки первого варианта:

*Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, в гоненьи и в степях
Мои утраченные годы.*

Еще более усложняет загадку стихотворения история публикации. Датированное пометой Пушкина 19 мая 1828 года, только первая его часть была напечатана Пушкиным как самостоятельное произведение в «Северных цветах» за 1829 год:

Когда для смертного умолкнет шумный день
 И на немые стогны града
 Полупрозрачная наляжет ночи тень
 И сон, дневных трудов награда,
 В то время для меня влачатся в тишине
 Часы томительного бденья:
 В бездействии ночном живей горят во мне
 Змеи сердечной угрызенья;
 Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
 Теснится тяжких дум избыток;
 Воспоминание безмолвно предо мной
 Свой длинный разворачивает свиток...
 (Окончание — см. эпиграф к разделу)

В этом виде стихотворение и известно широкому кругу читателей. Вторая же часть (строки 17—36) была впервые опубликована Анненковым в 1858 году в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» и обычно не включается в массовые издания произведений Пушкина. Отсюда и вопрос о целостности стихотворения. И третий момент — конкретность образов во второй части стихотворения. В любом случае следует постоянно держать в уме, что сам Пушкин опубликовал только первую часть (!).

По вопросу «разъятия» стихотворения на две половины, по-видимому, прав Б. В. Томашевский: «Ведь если Пушкин и отбросил этот конец по интимности, то эта интимность помешала ему ее доработать. Кроме того, еще неизвестно, насколько основательна эта догадка об «интимности» как решающем поводе. Быть может, здесь играли роль и мотивы чисто эстетические: придание стихотворению большей сжатости, выразительности и общности путем устранения перечня личных воспоминаний».

Как бы там ни было, но центральным в толковании и восприятии «Воспоминания» является вопрос об авторской идее. В стихотворении явно ощущается душевная угнетенность поэта; ее толкуют по-разному: первый биограф Пушкина Анненков трактует ее последекабрьской реакцией, разъединенностью поэта со столичным окружением; у В. В. Вересаева — это «тоска олимпийского бога», изгнанного за какую-то вину на землю грешную и пр. На наш взгляд, более всего истины в словах Толстого, многократно обращавшегося к стихотворению: «Во время моей вынужденной праздности — болезни — мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении «Воспоминание».

Это весьма примечательные слова, которые с полным основанием можно отнести к известным периодом в жизни самого Толстого; речь идет об известной «Арзамасской тоске» (1876 г.) — периоде, хотя и краткосрочном, но повлекшим за собой многие кардинальные изменения в характере и творчестве Льва Николаевича. Этот, описанный самим Толстым, психологический перелом, сопровождавшийся глубокой депрессией, проявлением сумеречных состояний, ощущением патологического страха смерти, проявлением наследственной отягченности, достаточно точно определил хронологические рамки рубежа двух основных этапов в жизни и творчестве писателя. Если до «Арзамасской тоски» Толстой, по преимуществу, писатель-беллетрист, то во втором его жизненном периоде с нарастающей динамикой прогрессирует художественно-творческое угасание, возобладает морализаторская, проповедническая, религиозная и обличительная тенденции.

Проводя допустимые аналогии, можно хотя и осторожно, но говорить о периоде написания Пушкиным «Воспоминания» как некотором рубеже. Действительно, если внимательно посмотреть на творческую хронологию поэта, то становится очевидным: именно в 1827—29 гг. в его творчестве наблюдается переход в высшую, г р а ж д а н с к и зрелую сферу литературной деятельности. Никакой речи и идти не может, что ослабело его лирико-поэтическое дарование, но все бóльшую роль приобретает драматургия, проза, во всей своей видимой «простоте» достигающая вершин философских обобщений, опыты в исторических изысканиях, то есть жанры, относящиеся к высшим литературным формам.

Причем, если у Толстого, равно как и большинства великих художников слова, коренной, рубежный перелом в творческой жизни — будем объективны и искренны — неизменно приводил к определенному снижению того качества, что принято называть творческим тонусом, и явлению, известному из психологии как «сдвиг мотива на цель», то в отношении Пушкина все наоборот. И этот рубеж можно с полным правом назвать как наступление периода высшей творческой зрелости. Может, это потому, что рубеж этот поэт встретил, еще не будучи тридцатилетним? — Возможно, но возможно и иное.

Есть такая наука э в р о п а т о л о г и я (бывшая «лженаука»), помещаемая где-то на стыке психологии творчества, гуманитарной и медицинской психологии, отчасти — психоанализа, основателем и наиболее значимым теоретиком и практиком которой полагается Г. В. Сегалин, издававший в 1925—30 гг. в Свердловске журнал «Клинический архив гениальности и одаренности (европатологии)». Основная идея этой науки суть утверждение о том, что гениальность есть в определенном смысле патология, то есть выход за нормальные для (среднего) человека рамки, но — в отношении качеств творческого самовыражения; как и в медицине, патология суть отклонение организма от характеристик нормального функционирования. Это диковато звучит для уха рядового читателя, но ведь в обыденной жизни мы одинаково хорошо относимся к коллегам по работе Ивану Ивановичу и Петру Петровичу, хотя второй имеет явный «недостаток»: он непереученный левша и свободно пишет служебные записки и отношения как правой, так и левой рукой... Скорее, наоборот.

Понятно, что придуманная свердловским врачом европатология не имеет строгой методологической базы (а разве ее имеет хоть одна из отраслей психологической науки?), но закрыли журнал Г. В. Сегалина, скорее, потому, что он пошел дальше и на примере творческих и жизненных биографий многих гениев и талантов доказал, что практически всегда европатология личности дополняется и определенной патологией личности, психики чаще всего. Увы, это закон природы по принципу: где прибудет, а рядом убудет. В науке это называется расплатой за гедонизм. Сегалин здесь далеко не одинок: авторитеты Ломброзо, Ясперса, Фрейда, многих отечественных психиатров (Ганнушкин, Гиляровский) многое значат.

Так вот, по этим самым авторитетным мнениям Пушкин в числе тех немногих гениальных творцов, для которых, исключая объясняемую у Александра Сергеевича африканским темпераментом вспыльчивость, европатология не сопровождалась патологией личности! Поэтому-то и укоренилось за Пушкиным определение: «ч и с т ы й г е н и й».

Однако никому не дано обойти законы природы, в данном случае законы развития психической конституции творчески одаренной личности. Для каждого художника неизбежен переломный этап, как неизбежна ломка голоса в переходный от отрочества к юности возраст. Не будем даже «на пальцах» касаться биомедицинских механизмов этого перелома или перехода: специалисты знают, а другим ни к чему голову забивать. Одно несомненно: даже у абсолютно душевно здоровых творческих

личностей этот переломный переход сопровождается своей «Арзамасской тоской». Симптомы ее мы находим одинаково в дневниках Толстого и в тексте «Воспоминания» Пушкина: душевная неустроенность, неуверенность в будущем, а более всего в настоящем, доходящее в апофеозе почти что до отрицания наличия смысла в предыдущей жизни, постоянные гипертрофированные укоры совести за прошлые грехи, словом, то, что по-русски называется маета. Это своего рода самоочищающая душу переоценка ценностей, за которой следует полная творческая зрелость художника и новый расцвет его таланта.

Художник же слова не был бы писателем или поэтом, если бы просто записал, загулял, как более простодушные люди во время маеты и хандры, нет, он обязательно изложит свои метанья на бумаге. Толстой это делал в дневниковых записях, а впоследствии отображал свое состояние в период кризиса на героях своих произведений; у Пушкина же это вылилось, а точнее выкристаллизовалось, в самом его загадочном стихотворении.

Осталось еще уяснить причину двухчастности стихотворения, на чем ломают копыта полтора с лишком века маститые литературоведы. Очевидно, автор «Воспоминания» — осознанно ли, в подсознательном ли акте творения? — оказался гораздо «холоднее рассудком», нежели все его позднейшие комментаторы, разделив задуманное стихотворение на два самостоятельных, хотя очень близко стоящих друг к другу, стихотворения: «Воспоминание», состоящее из первых шестнадцати строк — лирико-философское размышление, и второе, относительно самостоятельное произведение (17—36 строки текста) — лирическая жалоба — воспоминание о тяготах жизни полуопального поэта, о былых в его жизни «ангелах-заступниках».

Заметим, что в литературоведении принято сопоставлять «Воспоминание» с «Думой» Лермонтова, написанной десятью годами позднее. Так вот, сопоставлять это можно как раз — и только — первую часть.

*И прах наш, с строгостью судьбы и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.*

*Много вашими устами
Пил я меду и вина;
Вдохновенными стихами
Пел я ваши имена!
И в удалом хоре звуков
Цели, радостны они
Будут жить у дальних внуков,
Прославляя наши дни...*

Н. Языков

Пушкинский памятник Дельвигу. Продолжая тему Пушкина-публициста и журналиста, предварим настоящий раздел необходимым пояснением: почему именно такая тема нами выбрана? Выбрана, понятно, не случайно, благо многогранное творчество поэта дает множество степеней выбора.

Выбор темы во многом диктуется характером и значением самого конкретного издания печати. Газета, в классическом ее понятии, есть орган оперативной информации, дополняемой малыми жанрами публицистики, прозы и поэзии. Такими

были ведущие русские газеты прошлого века, в том числе и основанная с участием А. С. Пушкина «Литературная газета»; эту же традицию продолжила советская пресса. Всех их характеризовало оптимальное сочетание хроники, аналитических обобщений, обзоров различных сторон текущей жизни страны и зарубежья, разножанровой публицистики, произведений «малой» литературы. Сюда же следует добавить высокий уровень грамотности публикуемого материала; далее — цензура, а вообще-то говоря — строгая и оправданная самоцензура в отношении политической, нравственной, этической сторон содержания газеты. Кстати, учитывая сегодняшнюю повальную, вопиющую безграмотность изданий периодики, напомним, как ответственно и квалифицированно к оформлению печати относились еще в недавние времена... В бытность своей учебы в Литературном институте слышал рассказ на эту тему преподавателя по курсу практической грамматики; тот уже тридцать с лишком лет совмещал преподавание со штатной работой в «Правде», где в его обязанности единственно входило раз в месяц выполнять подробнейший грамматический и стилистический анализ произвольно выбранного номера газеты. Отчет этот шел в соответствующий отдел ЦК КПСС, откуда и спускались, по мере необходимости, соответствующие директивные указания в редакцию центрального органа... Именно поэтому рассмотрим публицистическую, журналистскую сторону творчества А. С. Пушкина (в дополнении к сказанному).

Однако вернемся после пространного, но необходимого вступления к теме о Пушкине-журналисте и Пушкине-друге. Обилие мемуаров и литературных жизнеописаний, посвященных Пушкину и изданных более чем за полутора столетия лет со дня гибели поэта, дает вполне исчерпывающий ответ на вопрос о друзьях Пушкина. Имея представление о натуре и характере поэта, его окружении и других ситуационных и событийных сторонах его жизни, не приходится удивляться, ставить под сомнение сформировавшееся мнение, что число друзей было очень и очень ограничено; ограничено — несопоставимо с общественной и литературной значимостью Александра Сергеевича. Исключая дружественных к поэту женщин, но это совсем иной круг общения, число это очень мало, в основном — сохранившиеся друзья от лицейских лет и кружковцы «Арзамаса»: Дельвиг, Вяземский, Кюхельбекер, Жуковский, Баратынский, Пуцун.

Несомненно, что первым и наиболее искренним другом поэта был Дельвиг; со школьных лет помним мы пушкинские строки, посвященные ему. Через призму времени сложно однозначно, вербально так сказать, определить истоки и движущую силу этой дружбы. Не претендуя на истину в последней инстанции, все же полагаем далеко не последней причиной эту-то присущую Пушкину и Дельвигу черту характера, определяющую в человеке все — от образа мыслей до черт поведенческих — которую емко и кратко называют *п а т р и о т и з м о м и г р а ж д а н с т в е н н о с т ь ю*.

Казалось бы, не потомук эфиопских князей Пушкину и остзейскому барону Дельвигу выпячивать эти черты, но они их вовсе не выпячивали, а были изначально, имманентно пронизаны ими. Для России это не парадокс, но чисто русская норма; как спустя столетие величайшим выразителем русского духа, его воли, характера и величия стал грузин Джугашвили-Сталин со сподвижниками, тоже далеко не всегда этническими русскими... Кстати об остзейских немцах. Две мировые войны, в которых силы Мирового зла столкнули — против их воли и разума — в смертельной схватке русскую и германскую нации, наложили в нашей литературе, пропаганде, образе мышления печать негативизма на роль этнических немцев в новейшей, то есть послепетровской истории России. Так и остались в ней только бироновщина, немецкое засилье в только что созданной Академии, где их лупил по мордасам Михайла Ломоносов, да лесковские персонажи глуповатых карлов с «железным характером».

На этом, правда, вполне объяснимом исторически негативном фоне напрочь забыта, отринута та положительная и весьма немалая по своему вкладу роль остзейских немцев в становление Российской империи, в состав которой они вошли с присоединением Петром к России ее исторических прибалтийских земель: Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Приняв русское подданство — не народу русскому, но государю-императору, остзейцы вписали немало ярких страниц в историю империи: открыватель Антарктиды Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, филолог Фасмер, математик Эйлер... перечислять можно долго и обоснованно. Да и одиозная фигура Бенкендорфа, если отбросить эмоции, в своей государственной пользе позитивна. Уже и не говорим о русских императорах: полунемцах, а то и вовсе немцах. Да и российский флот в XIX и начале XX вв. своей выправкой, дисциплиной и боевым искусством обязан остзейским немцам, поколениями дававшими ему офицерский состав. Вот из таких — не гастролеров «на ловлю счастья и чинов», но верных государственных подданных — немцев и происходил барон Дельвиг, что так много значил в жизни Пушкина, к кому так часто обращался поэт в своих стихах.

14 января 1831 года умер Дельвиг, которого с Пушкиным связывала не только личная дружба, но и его журналистская деятельность, к которой поэт все активнее стремился с конца двадцатых годов. «Литературная газета» и «Северные цветы», которые мы привыкли ассоциировать с именем Пушкина, были основаны и издавались Дельвигом. «Литературная газета» просуществовала недолго, но и она, и альманах «Северные цветы» пережили своего создателя. Об активном участии Пушкина в альманахе, выходявшем с 1825 по 1832 год, свидетельствуют опубликованные в нем произведения: отрывки из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», «Моцарт и Сальери», «Граф Нулин», «Бесы», «Анчар», «Воспоминание», «19 октября». Перечисление пушкинских шедевров можно продолжать и продолжать.

Выпуск альманаха за 1832 год был последним и недаром его называют пушкинским памятником Дельвигу. Сама мысль издания посмертного выпуска была инициирована Плетневым в пользу отнюдь не богатой семьи Дельвига и была словом, а главное делом поддержана Пушкиным: «Бедный Дельвиг! помянем его «Северными цветами»... Однако денежные дела никак не превалируют над основной мыслью: увековечить изданием альманаха память друга и поэта.

Исходя из такого намерения, Пушкин и отбирал произведения постоянных авторов альманаха — соратников и спутников Дельвига. Поэтому наиболее значимым стал отдел поэзии; кроме пяти стихотворений самого Дельвига («К Морфею», «Сонет» и др.), в нем были помещены поэтические произведения, посвященные Дельвигу Баратынским, Языковым, Деларю. Подвел Пушкина Плетнев, поначалу обещавший для выпуска «Северных цветов» заказную, как бы сейчас сказали, статью о жизни и творчестве умершего поэта и издателя. Последнее очень огорчило Пушкина, проявившего отнюдь не вольнолюбиво-поэтическую твердость в делах, касающихся дружбы, памяти и обязательств.

Кроме указанных произведений, в поэтический раздел вошли стихи самого Пушкина: «Анфологические эпиграммы», «Эхо», «Дорожные жалобы», «Делибаши», «Анчар», «Бесы». Центральным же в разделе поэзии был «Моцарт и Сальери». Остальные из 82-х стихотворных произведений альманаха были представлены именами В. А. Жуковского, Н. М. Языкова, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Ф. Н. Глинки, М. Д. Деларю и менее известными ныне поэтами пушкинского круга: Е. Ф. Розен, Д. Ю. Струйский, Л. А. Якубович, сестры Тепловы и др.

Отдел прозы был выдержан в традициях «Северных цветов», то есть наряду с художественной прозой («Предслава и Добрыня» К. Н. Батюшкова, «Страшный суд» И. И. Лажечникова и др.) здесь был представлен этнографический очерк

Н. Я. Бичурина «Байкал», «О жизни растений» М. А. Максимовича, «Нечто о науке» М. П. Погодина. Но все же жемчужиной памятного выпуска, как ни крути, оказался поэтический раздел, оно и понятно — составлял-то альманах Поэт! И здесь же во след литературоведам, многократно обращавшимся к «Северным цветам» за 1832-ой год, отметим бросающееся в глаза при прочтении (это доступно всем, учитывая, что в 1980 году издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» переиздало этот выпуск альманаха): даже на фоне имен — цвета тогдашней русской поэзии бросается в глаза определенная неадекватность творений Пушкина и поэтов его времени и круга. Как пишет литературовед-пушкинист Л. Г. Фризман: «Трудно сказать, в какой мере современники отдавали себе отчет в несоизмеримости пушкинских произведений с самыми несомненными творческими достижениями его поэтических спутников, но мы видим ее ясно... Может быть, «Северным цветам» за 1832 год не довелось стать памятником Дельвигу в той мере, в какой к этому стремился Пушкин. Но они стали несомненным памятником поэзии пушкинской эпохи. Конечно, они не заменят нам сборников стихов отдельных поэтов. Но и эти сборники не подарят читателю тех чувств, которые он испытывает, перелистывая знаменитый альманах. Он сберег для человечества нетленную частицу художественного мира, к которому оно будет тянуться, может быть, не одно столетие».

*Внемли же ныне, тень поэта,
Певцу, чью лиру он любил,
Кому щедроты бога света
Он в добрый час предвозвестил.
Я счастлив ими! Вдохновенья
Уж стали жизнью моей!
Прими сей глас благодаренья!
О! пусть мои стихотворенья
Из милой памяти людей
Уйдут в несносный мрак забвенья
Все, все!.. Но лучшее, одно
Да не погибнет: вот оно!*

Н. Языков «А. А. Дельвигу»

Разные бывают памятники: кому его «родная» страна, разоренная при его деятельном участии, но людям светлой души и помысла, как правило, это нерукотворный памятник.

Пророки в отечестве своем. *И. Бунин в своей книге «Освобождение Толстого» цитирует Льва Николаевича: «Люди, ненавидящие существующий строй и правительство, представляют себе какой-то другой порядок вещей и даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами — пожарами, грабежами, убийствами — разрушают этот строй... Но дело не в перемене правительства.*

Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?»

Кстати, знаменательное совпадение с пророческими словами Толстого с астрономической точностью: не так уж давно в Санкт-Петербурге Ленинградской области прошли ритуальные похороны останков, предполагаемых людьми заинтересованными как кости Николая II и его семьи. А хоронили их исключительно петрунке-

вичи, «жадной толпой стоящие у трона» тогдашнего... Все в наши дни символическое, сакральное, на грани овеященной мистики: и похороны, и ураган, сломавший зубцы кремлевской стены, и обещание генерала Рохлина вывести на столичную площадь новых декабристов...

Итак, пророчество в Отечестве своем. Народная мудрость гласит, что таких пророчеств и их носителей-пророков нет. Позволим себе усомниться, ибо очень часто неверно трактуют смысл пророчества, а он прост изначально: тот, кто приоткрывает картину будущего, опираясь на всесторонний анализ настоящего и прошлого. Логическим, даже сверхорганизованным умом этого сделать нельзя; это доступно только человеку с преобладающей подсознательной компонентой мышления; обычно это есть художественные натуры, потому и большинство пророков из их числа, начиная от собственно пророков ветхозаветных, от Будды и Магомета и все далее и далее по направлению исторической цивилизации. В отношении судеб России за последние 100—120 лет таких пророков нам явилось два: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой.

Главное, что пророк н и к о г д а не разрушает свое государство. Принято считать, что Толстой это делал своим поздним философско-публицистическим творчеством. Это совершенно не так; видя сложность и опасность исторической ситуации, в которую попала Россия на рубеже веков, да еще при самом из бездарных царей за всю тысячелетнюю историю государства, Толстой, заранее обреченный на неуспех, со своей яснополянкой трибуны пытался предупредить людей о страшном грядущем, наставить их на путь истинный, при этом любя их, связывая свою судьбу с их жизнью. Так мать воспитывает ребенка в опасном его переломном возрасте: то хвалит, то ворчит, приласкает и тут же даст предупредительную оплеуху...

На совершенном контрасте предстает в новейшей истории СССР-России Вермонтский отшельник, которого иные еще недавно пытались представить русским пророком XX века. Увы, вся его энергия ушла на разрушение государства, движимая гипертрофированной личной обидой. На созидательную деятельность ее уже не хватило, потому и участь его печальна: не понадобился он ни прежним, ни новым, словом, полное забвение. (Опять же понятно — о ком идет речь.)

Второе неперемнное качество пророка — патриотизм — прямо-таки вытекает из сказанного выше. Хотя поздний Толстой и любил цитировать слова космополита XIX века доктора Джонсона, что-де патриотизм есть последний довод негодяя, но это адресовалось к людям в маске патриота, типа нынешних «пэров и мэров», не говоря уже о губернской мелочи, ищущих политическую конъюнктуру.

Причем патриотизм этот обязательно включает и личное служение государству. Толстой стоял под англо-французскими пушками в Севастополе, служил чиновником в Туле, в позднем возрасте работал в земстве, а этнограф (и полковник опять же внешней разведки) Миклухо-Маклай по заданию Генштаба создавал разведывательную сеть в Океании — планировавшийся объект российской экспансии...

Вот в этом-то они и отличаются от лжепророков-разрушителей: не таят обиду на свой народ и свое государство. Ведь и Достоевский на каторге был, стоял на эшафоте, и Толстого государственная церковь объявила временно отпавшим от нее (отнюдь не отлученным, тем более — преданным анафеме, как принято почему-то считать!). Редко дети на мать обижаются до степени непризнания и мищения.

Итак, вернемся к пророчеству Толстого, сбывающемуся в наши архиокайные дни. «Но дело не в перемене правительств». Это надо понимать именно так, как думал Толстой, оценивая реальную ситуацию в России столетней давности. А ситуация опять-таки во многом схожа с нынешней; прямо-таки установившийся 100-летний цикл, подобный циклам солнечным, планетарным.

В то время Россия путем невероятных усилий, лишений и жертв сумела переломить ситуацию, подавить в своем теле бактерии индивидуализма, космополитической пустоты, заразы торгашества. Быть может, во многом и потому, что еще не успели истлеть идеи и мысли только недавно почивших великих русских Учителей и Пророков.

К новому наступлению сил мирового зла мы их обрести не успели, слишком страшным выдался отпущенный век. И это отсутствие пророков нынешних скажется.

Закончим это краткое эссе пространной цитатой из статьи Толстого «К рабочему народу» (1902 г.) и подумаем над этими словами:

*«Мы говорим: рабочий народ поработен правительством. Богатыми. Но кто же эти люди, составляющие правительство и богатые классы? Что это — богатыри, из которых каждый может победить десятки и сотни рабочего народа? Или их очень много, а рабочего народа очень мало? Или только эти люди, правители и богатые, одни умеют работать все нужное и производить все, чем живут люди? Ни то, ни другое, ни третье: люди эти не богатыри, а, напротив, расслабленные. Бессильные люди... И все, чем живут люди, производится не ими, а рабочими, они же и не умеют и не хотят ничего делать, а только пожирают то, что делают рабочие. Так отчего же эта маленькая кучка слабых, праздных, ничего не умеющих и не желающих делать людей властвует над миллионами рабочих? Ответ есть только один: происходит это оттого, что рабочие руководятся в своей жизни теми же самыми правилами и законами, которыми руководятся и их угнетатели. Если рабочие работают и не пользуются в такой степени трудами бедных и слабых, как неработающие правители и богатые, то это происходит не оттого, что они считают это нехорошим, но оттого, что не могут и не умеют этого делать, как делают это правители и богатые, более ловкие и хитрые, чем остальные. **Правители и богатые властвуют над рабочими только потому, что рабочие желают точно так же и теми же способами властвовать над своим же братом рабочим** (Выд. нами — А. Я.)».*

Толстой и Сталин: теория и практика восстановления общинной идеи на Руси. В предисловии к первому тому Юбилейного полного собрания сочинений Льва Толстого в 90 томах (1928—1964 гг.) редакционная коллегия издания (В. Г. Чертков и др.) уведомляла читателей, что предпринятое собрание является полным, исключая неразобранные слова, слова «неудобные для печати», а также высказывания о лицах, которые ныне живы и которых это может уязвить. То есть речь идет о рукописях пресловутого «зеленого сундука». Вряд ли там есть хоть слово о И. В. Сталине, еще не попавшем в первом десятилетии века в большую политическую орбиту. Скорее, речь идет о фигурах масштаба (на тот момент времени) бóльшего.

Определенная сдержанность в отношении Толстого присутствует и в опубликованных работах и высказываниях Сталина, даже учитывая предельную лаконичность в оценках и характеристиках Вождя. Здесь важнее дело, а не слова, проявившееся во всяческой поддержке издания 90-томника; напомним, что большинство томов было издано в период 1937—53 гг., обычно относимых историографами к «вершине власти» Сталина. Для сравнения: издававшееся в 70—80-е гг. 30-томное собрание сочинений Ф. М. Достоевского бесконечно тормозилось в части издания «Дневников писателя», как следует понимать, из-за мощного давления отечественной и мировой сионистской закулисы. А нынешние бойкие перья без конца плачутся, что-де эти годы были периодом «государственного антисемитизма»?!

Сказанное выше следует понимать в том смысле, что отношения Толстого и Сталина суть ситуация разделенных во времени, в роде основной деятельности, в классовой, то есть общественно-социальной, принадлежности отношений Старшего и Младшего; в литературно-философской аранжировке это соответствует диспозиции «автор — читатель».

...И второй, уточняющей тему настоящего очерка, вводный момент из недавнего прошлого. В преддверии 170-летнего юбилея Льва Толстого в стране и в мире был проведен ряд научных мероприятий — конференций, симпозиумов и пр., — литературной и философско-этической направленности, где одним из основных обсуждаемых был вопрос: «Почему Россия не пошла путем, указанным Толстым?» Что тут сказать. Много, но все говоримое речелюбивыми гуманитариями, а это стопроцентный состав участников всех этих мероприятий, укладывается в два исходных тезиса: а) заработать долларовую подачку вершителя дум современной науки России венгерского уроженца Сороса; б) удержаться, дотянуть до пенсии на своей доцентско-профессорской должности столь переимчивых ныне гуманитарных кафедр ВУЗов, число которых по программе Бжезинского-МВФ должно быть в России сокращено с 500 до 50 (!!).

Бедные они, бедные, даже беднее чем вся наша уничтожаемая и унижаемая страна. Сразу вспоминаю своих коллег, преподавателей кафедр общественных наук; как они, морщась, по воскресеньям напиваясь, чтобы притушить ощущение собственного, но вынужденного (семью-то кормить надо!) ренегатства, готовят и читают студентам лекции, по содержанию антиподные тем, что читали с исторических аспирантских времен своей молодости: где было белое — ставить черное, коллективизм советского общества — поменять на благонесущий волчий индивидуализм «нового русского» и пр.

Также непросто и вроде бы ныне находящимся в фаворе экономистам-профессорам. Лихорадочно перелистывая на старости лет толстые переводные тома пресловутой «Экономикс», изданные под эгидой того же Сороса и «Горбачевфонда», они выискивают критерии экономического благосостояния современного общества: то им рекомендуют критерий «количество энергоносителей», то критерий «денежной массы». А они, забывшие, что есть и будет наука политэкономия, не понимают, что критерием современной мировой экономики есть число авианосцев у преуспевающей державы, и чем их больше, тем больше тонн ничем не обеспеченных долларов можно напечатать и расплачиваться этими, равными по цене туалетным, бумажками с 90 % населения Земли...

Но эта тема может увести нас далеко, поэтому вернемся, уточнив предмет нашего размышления, к существу декларированного в заголовке.

В том-то все и дело, что Россия в государственной форме Союза Советских Социалистических Республик пошла путем Толстого; естественно не директивно указанным яснополянским мудрецом, но созвучным духу его учения. И то, что Россия пошла этим, изначально адекватным русской национальной идее, путем, позволило, с одной стороны, еще на 70 лет продлить существование Русской империи меча и духа, причем не просто продлить, но впервые в ее тысячелетней истории вывести в сверхдержаву и сделать провозвестником будущего социального и экономического устройства мира, то есть на новом витке диалектической спирали повторить итоги Великой Французской революции. С другой и, увы, печальной стороны, столь резким прорывом в будущее и реализацией национальной идеи Россия подписала себе смертный приговор, де-факто исполненный в результате проигрыша силам Мирового зла Третьей мировой («холодной») войны.

А теперь сформулируем базовый тезис. В упрощенном, завуалированном, во многом вульгарном философско-литературоведческом подходе, что называется «для

домохозяек», учение Толстого-проповедника в последние 30 лет его жизни сводится к самосовершенствованию личности, как онтологической первооснове этического прогресса человечества. Это есть движущий принцип ведической философии и практика буддизма. Я приношу извинение читателям, что приходится для массового прочтения подыскивать «житейские» синонимы строгим научным определениям. Во многом этому способствовал и сам Толстой, включая, причем обильно, ведические и буддийские жизнеописания, афоризмы и максимы в свои философско-просветительские работы: «Путь жизни», «На каждый день», «Круг чтения» и др.

Именно потому, что Толстой терминологически акцентировал слово «личность» в своем морально-этическом учении, дало, а ныне и тем более дает, повод к полному извращению философии Толстого и причислению его к апологетам западно-восточного индивидуализма. В этом и вторая, после «яснопольского ухода», трагедия Толстого и его учения.

Воистину, человек видит в любых явлениях жизни, в поступках и деяниях то, что он видеть хочет. Какой же, эквивалентный ныне господствующему в мире индивидуализму, в основе своей западноевропейской протестантской, кальвинистской модели, самодовлеющий момент можно найти в творчестве Толстого: от грандиозной эпопеи «Война и мир» до малоизвестного рассказа «Суратская кофейня», в публицистике поздних лет, наконец, во всей личной и общественной жизни и деятельности Льва Николаевича?

В том-то и дело, что в основе этики самосовершенствования лежит общинная идея, а это является выкристаллизованной движущей силой исторического этногенеза русской нации. Действительно, в мире западно-восточного индивидуализма самосовершенствование личности есть вредный анахронизм, как полностью отвергающий вседоложающую власть денег, накопительства, что является сутью Европы, «американской мечты», конфуцианской морали, прагматизма Востока — не мусульманского, а скороспело «цивилизующегося» азиатско-тихоокеанского Востока. Ибо самосовершенствование есть высшая ступень осознанного подчинения личности коллективной идее национальной, духовной государственности. Сравни: свобода есть осознанная необходимость. Этой-то идее, более того — философско-этической парадигме, подчинено все творчество Льва Толстого, его воззрения и собственный жизненный образец.

Второй существенный момент: русская общинная идея есть глубоко интернациональная, что почти что продекларировано Толстым в «Суратской кофейне», а в историческом этногенезе Руси это наглядно выявилось в создании уникальных и единственных в новейшей истории многонациональных государственных образований: Российской империи и Советского Союза.

В то же время существование и развитие сверхдержавы, движущей силой которой являлась и н т е р н а ц и о н а л ь н а я общинная идея, было одним из немногих (второе основное — исламское сообщество), но наиболее могущественных факторов на пути мирового господства идеи н а д н а ц и о н а л ь н о й, которую характеризуют по-разному: Мировое правительство, мондиализм, атлантизм и пр. А еще точнее и конкретнее эту противоборствующую идею лучше называть сатанизмом. На сегодняшний день, когда разрушен главный форпост евразийской общинности, сатанизму противостоят только исламский и китайский факторы противодействия.

Попыток уничтожения общинной по духу Руси история насчитывает несколько: Хазарский каганат, тевтонский натиск XIII века, католическая экспансия начала XVII века, восстание масонов-декабристов, череда революций 1905—17 гг. И только нынешний достиг своей цели. Если Толстой был наиболее выдающимся теоретиком общинной идеи предреволюционной поры, то гениальным ее практиком стал в XX веке Иосиф Виссарионович Сталин.

Сквозь оголтелую, оболванивающую ложь масс-медиа и мегатонны псевдонаучной макулатуры, выплескиваемой уже свыше сорока лет — с перерывом на время руководства страной «поздним Брежневым», трудно обычному человеку безоговорочно принять такую роль Сталина, особенно в сопоставлении с учением Толстого, но это именно так.

Возрожденная и многожды усиленная Иосифом Виссарионовичем русская империя духа — СССР имела своим основанием глубочайше понятый и воплощенный коллективизм (синоним общинности); последний прочно стоял на двух «китах»: самосовершенствовании личности и подлинный интернационализм.

Вопрос о приоритете всестороннего развития личности в становлении общинной идеи в практике построения социализма в СССР зачастую сводят к декларированному в Моральном кодексе строителя коммунизма, то есть осовремененным по терминологии основным заповедям христианства, хотя и это уже немало. Однако сталинская система воспитания, выработки мировоззрения, поддержания мироощущения, наконец, есть структурно система намного более сложная и динамичная, поскольку она вырабатывалась в самом процессе становления Советской империи духа и неослабевающего противодействия сатанизма.

Отринув извечный масонский девиз «Свобода, равенство, братство», сформулированный в XVII веке братством розенкрейцеров, великий практик самосовершенствования и общинности сформулировал и претворил в жизнь людей 1/6 части планеты следующие, обоснованные еще Толстым, идеи.

Свобода, как осознанная необходимость, предполагает неограниченное саморазвитие личности, включая духовное и этическое, образовательное, конечной целью которого является наиболее полное служение государственной идее общинности.

